

Л 2005
14387к



Адольф
Арцишевский

Полк
особого
назначения







**АДОЛЬФ
АРЦИШЕВСКИЙ**

Полк особого назначения

Рассказы и повести

АЛМАТЫ
«ЖИБЕК ЖОЛЫ»
2005

ББК 84 Р7-4
А 88

Издано по программе Комитета информации и архивов
Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан

Арцишевский А.

А 88 Полк особого назначения. Повести и рассказы. — Алматы:
Издательский дом «Жибек жолы», 2005. — 288 с.

ISBN 9965-759-04-9

Книга посвящена 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это рассказы и повести, объединенные одной темой – война и то, как она преломилась в судьбах людей. В центре повествования – фронтовик-казахстанец, человек простой и внешне малоприметный, но сумевший своим великим мужеством и нечеловеческим упорством совершить тяжелую, кровавую работу войны и одолеть беду, нависшую над страной. А потом, вернувшись домой (нередко вернувшись к пепелищу), найти в себе силы жить дальше, строить заново жизнь, порушенную военным лихолетьем, обретая простые радости бытия: любовь, отцовство, работу, они наполняет жизнь особым смыслом, они держат человека на земле.

ББК 84 Р7-4

А $\frac{4702010201}{430 (05) - 05}$ без объявл. – 2005

ISBN 9965-759-04-9

© Арцишевский А., 2005

Неизбывность боли

Избранная проза Адольфа Арцишевского – это целая человеческая жизнь и особая историческая эпоха.

Внешне биография Арцишевского, родившегося в Сибири в 1938 году, типична для многих наших литераторов с той лишь особенностью, что любовь к слову у него всегда шла об руку с жадной жаждой знаний и неутомимым любопытством к жизни. Писать начал еще студентом факультета журналистики КазГУ. Работал в газетах и журналах Казахстана, но часто срывался с насиженных мест, уходил в матросы, в геологи, к охотникам, в рабочие палеонтологической партии. Ощутил провалы своего школьного естественного образования, стал студентом биофака, а чтобы пополнить гуманитарные знания, закончил Высшие литературные курсы в Москве. Так изживались псевдоромантические, комсомольские идеалы и обреталась духовная зрелость.

Литературная судьба Арцишевского не была ровной и легкой, но он и не искал иной, потому что никогда не изменял своему призванию в угоду времени, не случайно, по-моему, к одному из своих ранних рассказов он выбрал эпиграфом мудрые слова Гильгамеша: «Сломай дом, построй корабль, оставь богатство, ищи жизнь». У писателя-профессионала, члена Союза писателей, книги выходили трудно, порой лет на десять задерживаясь благодаря усилиям доброхотов-рецензентов. Приходилось перебиваться подножным кормом журналиста. Что ж, вполне обычная судьба. Уместен вопрос: почему не вступал в открытую борьбу с «административно-командной системой»? Думаю, если быть откровенным, вероятно потому, что многие из нас обманутые хрущевской «оттепелью» 1957 года слишком медленно изживали социалистические иллюзии. В таких случаях в качестве печальной шутки вспоминается самохарактеристика Пушкина – «не делал доброго, однако ж был душою ей-богу добрый человек». Впрочем, и таких незаметно-добрых людей система походя оперативно окорачивала.

В 1975 году вышла книга О.Сулейменова «Аз и Я», которую Арци-

шевский редактировал. Автора, как помнит читатель, заставили публично отречься от книги, а редактора, естественно, вышвырнули с работы. И надо ли говорить о том, что это сделали с литератором, о котором Виктор Шкловский писал Ивану Шухову: «Прочел я рукопись талантливую (талантливую) Адольфа Арцишевского. Собираюсь им заняться. Рекомендую Вам попробовать Арцишевского на местном материале – у него есть отношение к окружающему, ему необходимо писать». А Юрий Нагибин подчеркивал как замечательное качество художника то, что Арцишевский «сохранил такое раскаленное отношение к литературе». И надо ли сейчас риторически вопрошать – кому это было тогда надо?

Свою близорукость современники оправдывают злобой и потребностями дня. За ней скрывается привычная надежда, что состояние жизни и общественного духа неизменны, рассчитаны надолго, что и завтра ничем не будет отличаться от сегодня. И, правда, 70 лет партийно-коммунистической диктатуры покоились на «стабильности» нашей духовной слепоты и рабства, хотя время и мысль остановить невозможно. Партийно-государственная система десятилетиями воспитывала писателя в духе гражданского повиновения, ревниво следила за тем, чтобы он без колебаний иллюстрировал ее идеологические догмы. Огромный штат Госкомиздата, издательских редакторов, идеологических цензоров при ЦК был призван всех стричь под одну гребенку. Если бы сейчас мысленно представить себе, скажем, академический тип издания романа Арцишевского «День среди лета» со всеми черновыми редакциями и издательскими купюрами, то дотошный читатель получил бы своеобразный документ, пахнущий кровью. Стремилась выхолостить душу – методично, высокомерно-поучительно в течение 9 лет. Но и то, что читатель середины восьмидесятых годов узнал из этого романа, выглядело по установившимся канонам асоциально: не было здесь «четкой» грани между положительными и отрицательными героями, производственные конфликты, обязательные для прозы соцреализма, слишком уж размывались личными мелочами, самокопанием героев, как будто слабо заинтересованных своим гражданским и профессиональным долгом. Нет, эти герои не бросали вызова своему времени, но поисками жизненного призвания, беспокойством памяти и души они пытались понять, что с нами происходит. В подтексте прозы Арцишевского угадывалась мысль, прекрасно выраженная Андреем Платоновым: «Свобода – вот причина мира (космоса и гражданского состояния)».

Писатель выбирает своих героев по принципу духовного сродства и потому отражается в них сам как человек и свидетель своего времени. Как бы ни были пестры герои Арцишевского по своим характерам и профессиям, по возрасту и убеждениям, они сходны в главном. Это тот человеческий тип, который, вопреки всем превратностям судьбы и эпохи, все-таки благодарен жизни за дарованную возможность осуществить в себе Человека – в любви и семье, в работе и творчестве. Это осуществление у Арцишевского осмысливается как проблема истинного и ложного наследства, нравственного искривления или стойкости. Его герои – люди разные, по-своему искалеченные жизнью, но сохранившие в чистоте совесть и память о преемственности совести. Это охотовед Злобин из повести «Опасная зона», тот самый простой советский человек, который несет в себе военные «отметины», хотя по возрасту на войну не попал. И многие другие. Не буду пересказывать сюжеты их внутреннего неустойства и тревоги. Скажу лишь, что, по-моему, писатель не погрешил против самой элементарной правды – несмотря на удушливую атмосферу застоя, люди стремились оставаться людьми. И этой простой человеческой доблести, наверно, уже достаточно, чтобы к ним возникал безыскусный и непосредственный интерес. Конечно, современный читатель не преминет упрекнуть их вместе с автором в гражданской пассивности. Ведь они современники Солженицына, Пастернака, Синявского и Даниэля, свидетели наших военных вторжений в Венгрию, Чехословакию, Афганистан. Но не будем торопиться с осуждением. Такой упрек можно обратить едва ли не ко всей, так сказать, легальной советской литературе 60 – 70 годов. Не надо только забывать о том, что у нас, начиная с 1917 года, никогда не существовало свободы слова, а то, что честному писателю удавалось сказать без дежурных экивоков во славу партии, было пристально профильтровано многоступенчатой цензурой.

Своеобразным творческим девизом воспринимается сейчас название, да и содержание, первого сборника Арцишевского «Ищу наследство» (1975). Герой одноименного рассказа ищет не просто следы своего отца, безвестно исчезнувшего то ли на войне, то ли в лагерях. Он хочет понять, что ему завещано отцом, что в его жизни определяет духовно-нравственное наследство.

Не так ли и все мы сейчас хотим утвердиться в том, что все-таки являемся наследниками неискоренимых добрых начал человечности, хотя свинцово давит нас ответственность за миллионы и миллионы безвинных жертв. От этого никуда никому не уйти. Совесть послево-

енного поколения, к которому принадлежит и автор этой книги, вероятно, навсегда останется беспокойной и больной. И если читатель ощутит в прозе Арцишевского эту боль, пусть объясненную по условиям времени лишь наполовину, значит, западет ему в память кто-то из героев-бессребреников, а возможно, и имя автора, который по большому счету в «года глухие» сохранил совесть честного художника.

P. S.

Читателю, конечно, небезынтересно знать, а как живется и работает русскому писателю в новое постсоветское время, которое многих разметало по свету, разлучило с самим собой и даже профессионально переиначило.

Для творческого человека развал СССР был переделом большого и малого миров, испытанием на принципиальность гражданского и творческого самоопределения. Остаться там, где настигло тебя падение социалистической империи, например в Казахстане, или, по примеру многих иноязычных советских писателей, во что бы то ни стало устремиться, наконец, на историческую родину. А Арцишевский сделал выбор сразу. Его писательская судьба состоялась в РК и менять ее, перелицовывать – было для него, по меньшей мере, противоестественно.

Нелегко жилось и здесь – в родном уже, но ставшем вдруг «закрытом» государстве. Пришлось уйти едва ли не с головой в журналистику, благо она всегда была не только запасной профессией, но и вторым творческим его призванием. Сегодня, уже спустя 14 лет можно подвести и некоторые итоги.

Это, например, 16-полосная ежемесячная газета «Шалом», которую А. Арцишевский практически создает в единственном числе и которая пользуется заслуженным успехом у читателей.

Подготовлены к изданию публицистическая книга «Евреи Казахстана» – о знаменитых ученых и общественных деятелях нашей интернациональной республики, а также научно-популярная книга о жизни и деятельности знаменитых медиков всего мира – от Аристотеля и аль Фараби до Рентгена и Р. Коха. В работе находится роман об Иоанне Златоусте, в котором седая древность живо и актуально перекликается с нашей капиталистической действительностью.

Но главное, пожалуй, в том, что в эти трудные, переходные времена, когда досужий меркантильный масскульт теснил большую высокую литературу, А. Арцишевский выступил еще и как поэт классичес-

ких традиций. Стихи, сопровождавшие его почти всю сознательную жизнь, стали теперь вторым сокровенным голосом его души. В 2002 году вышел первый стихотворный сборник «Простые истины» и накопился второй. Вероятно, это тоже будет книга радости и боли, прозрений и признаний, врачующих наш беспокойный и «болящий дух» (Боратынский).

И, наконец, в переводе А. Арцишевского идет в Лермонтовском драматическом театре спектакль по драме замечательного казахского писателя Дулата Исабекова «Сети дьявола» (Жизнь Михаила Булгакова) в постановке народного артиста РК Рубена Андриасяна

Вот, читатель, «труды и дни», которые еще не вписаны в эту книгу, но которые уже как бы продолжают ее. Потому что принадлежат художнику, болеющему за Человека в любые времена нашей истории.

Виктор Бадиков

Полк особого назначения

Документальное повествование

Зинаида Сергеевна Лиховских, 1923 года рождения. Коренная алмаатинка. Работает в отделе перевозок Алма-атинского аэропорта. Фронтовичка. Войну закончила на подступах к Берлину в составе 23-го Берлинского орденов Александра Невского и Богдана Хмельницкого отдельного авиаполка ГВФ.

Антон Григорьевич Зайцев, 1923 года рождения. Родился и вырос в селе Троицком под Талды-Курганом. Работал диспетчером Бурундайского аэропорта. Тоже фронтвик. Они с Зинаидой Сергеевной однополчане, а с 1946 года – муж и жена. Он, правда, не дошел до Берлина – в срочном порядке перебросили на восток. В победном 1945-м им только-только исполнилось по 22 года. Портретов этих людей я не даю. Как они выглядят? Обыкновенно. Как может выглядеть человек, когда ему за пятьдесят?

Внешность – дело второе. Для меня важен облик души каждого из них. Важно, что они думали, чувствовали. И как сейчас они себя понимают. Тех, *какими были* когда-то – в годы, очень важные для всех для нас.

Война и мир Зинаиды Сергеевны

Человек замечает свой возраст, только не берет его в расчет. И то, что он внешне меняется, ему самому незаметно. Да и внутренне – ему кажется, он всегда был таким. Думая, как думает сегодня. Чувствовал, как чувствует сейчас. Все теми же руками делает свою работу. Те же ноги несут его по земле. Правда, несут чуток медленней – соли, однако, стали откладываться в суставах. И еще вот что: дети вдруг взяли, да нарожали собственных детей. Так вот подумаешь о детях, у них уже давно своя, сложная тебе не очень-то понятная жизнь, в которой ты не указчик, да и советчик, по правде сказать, никакой. Нет-нет, и к возрасту своему приглядываться начнешь. Подозрительный возраст, вроде бы и не твой. Годов-то сколько годов набежало! Выходит, пора па покой?.. А все ведь, кажется, должно случиться что-то большое и важное, к чему ты шла всю жизнь.

Некстати начнешь перебирать фотографии еще тех, довоенных, лет. И глянет на тебя твоими же глазами молодость. Снисходительно глянет, свысока. Хотя прямым и честным взглядом. И оторопь возьмет – да ведь это ж я! И поймешь и оправдаешь свой взгляд свысока. Я же не знала тогда ни бомбежек, ни хлебных карточек, ни страшных встреч с парнем, ты его до войны учила танцевать, и сейчас он неумело опирается на костыли под мышками, а брючина свернута и пришпилена выше колена. Бывают встречи пострашнее, когда смотрят на тебя с фотокарточки родные глаза, а фотокарточка под стеклом на обелиске со звездочкой. А ведь и сама ты бывала на грани, и с тобой тоже могло случиться такое, и смотрела бы с фотокарточки на обелиске вот эта девочка с прямым и неотступным взглядом. Девчонка, в которой ты теперь с растерянностью узнаешь себя. Сейчас и не верится даже, что было оно, то лихое, нелегкое и счастливое время – до войны. Оно дорого, потому что связано с молодостью, а молодость, как бы ни была тяжела, от нее всю жизнь потом свет. Оглянешься, поймешь лучик, и вроде бы просторнее становится и светлей.

Росла я у дяди с тетей. Родители рано умерли. Остались мы с сестрой вдвоем. Но сестра была постарше, могла сама зарабатывать на кусок хлеба, а меня взял к себе папин брат.

– Есть, – говорит, – у меня два сына – Володя и Виктор. Есть дочка Вера. Пусть будет еще одна дочь – Зина.

Родителями я их почитала с первого же дня, а вот папой и мамой звать не решалась. И уж когда повзрослела, в письмах с фронта стала называть тетю Дуню мамой.

Окончила я семь классов, по тем временам было неплохо, за это до сих пор мое «спасибо» дяде с тетей.

О чем я мечтала? Кем хотела стать?.. Лет десять-пятнадцать назад, когда подрастали дочери, вопрос «кем быть?» решался в нашей семье серьезно. Думали, прикидывали, чтобы не ошибиться. Сейчас внук, ему 12 лет, тоже думает. «Пойду-ка я, баба, в Суворовское». – «Так ведь... военным всю жизнь, Сережа». Ну и что, говорит, разве плохо? Я, говорит, хочу быть военным.

А я тогда, в 1939-м, не выбирала. Мне было все равно, кем стану, где буду работать. Хотелось быстрее встать на ноги, почувствовать себя самостоятельной. Самой зарабатывать на жизнь.

А мечта у меня была. Может, и небольшая. Может, меня и осудят за нее с очень уж высоких позиций. Но мечта была всерьез, и я себя за нее не осуждаю.

Мечтала о туфельках. Чтобы на каблукках. Чтобы новые, ни разу не надетые, из магазина. И чтобы я купила их сама, на собственные трудовые денежки.

Я их помню, эти туфельки. Ленинградские. Фабрики «Скорород». Светло-светло-коричневые, почти что кремовые, на аккуратном невысоком каблукке. Я успела купить их весной 41-го, успела пощеголять в них на танцах. А сносить не успела.

Жили мы на улице Аэродромной. Может, поэтому судьба меня связала с авиацией?.. Аэродромная – это даже не окраина города, это за городом тогда было. Сейчас, в нашу высокоразвитую транспортную эпоху, добраться до центра оттуда можно минут за десять-пятнадцать. А тогда автобусы не ходили. На работу в Энергоуправление, оно размещалось на углу Фурманова и Гоголя, там, где сейчас универмаг «Москва», я топала пешочком, и это не было в тягость.

Да что там работа! Мы на танцы бегали в парк культуры и отдыха. С Аэродромной. Туфли сунешь под мышку и босичком, чтоб каблукки не сбить. А кончались танцы за полночь, но домой мы шли не торо-

пясь... И было это в ночь с субботы на воскресенье. Домой мы вернулись часа в два. Ночь светлая. А край неба за логом алый. Потом он стал разгораться. То ли какое-то преломление лучей произошло в облаках, то ли еще какой редкий оптический случай, а только небо за логом стало огненное, красное, мы такого ни разу не видели.

Услышала наши голоса мама Дуня, вышла на крылечко. Посмотрела на небо, испугалась. Разбудила старушку, соседку:

– Что это, бабуся?

– Ой, деточки! Нехорошо это, нехорошо. Или голод будет. Или печаль великая. Или война.

Наивно все это. Оно бы скоро позабылось. Да только в ту ночь под утро началась война.

А мы еще сутки целые жили, ничего не знали и не ведали. Это сейчас радио в каждом доме. Тогда репродуктор был редкостью.

Прихожу я в понедельник утром на работу, понять ничего не могу. Все торопятся, отдают приказы, распоряжения. Телефон звонит – то из райкома, то из обкома. Увидела меня сестра моя старшая Галина, мы вместе с ней работали, обняла, на плечо мне голову положила:

– Ну, сестричка! Война началась. Настоящая.

И смотрит на меня, как будто навеки прощается. Она потом говорила:

– Я как чувствовала – ты, Зина, уйдешь на фронт.

А я смотрю на нее и понять не могу. Какая война, зачем?

Мне сунули отпечатать распоряжение о мобилизации: наших мужчин. И до меня дошло, в чем дело. Первое, о чем подумала, о ком пожалела: мальчишки-то наши, видно, не вернуться с фронта.

И тут я подключилась к общей спешке, печатала что-то срочное, бегала из отдела в отдел, вызывала к начальству. И все думала: вот их мобилизуют, в райком вызывают, они уйдут на фронт. А я? Что я должна делать? Печатать распоряжения и все?

Дома тоже горе-горькое. Брат Володя был курсантом военного училища в Омске. Мама Дуня держалась рукой за сердце, раскачивала головой, пришептывала: «Володька, Володька!..» Уже тогда оплакивала похоронку, которая придет полгода спустя.

«Что же делать? Что же делать?» – спрашивала я себя. И не знала, как ответить, как поступить. Были в моей жизни моменты страшные, родителей потеряла, сиротой осталась, но сумела устоять, уцелеть. А война – такое лихо впервые у меня случилось, надо было его одолевать, стоять в стороне – это же сил нет, сердце разорвется. Но и с

какого боку подступить – не знаешь. У нас в управлении электриком был Леня, кучерявый, цыганистый парень. Он прихрамывал, что-то у него было с ногой. Но я учила его танцевать, мы раза два в кино ходили. Вышли в тот день с работы, а через дорогу, наискосок, райком комсомола, толпы мальчишек его осаждают. Добровольцы. Леня аж в лице переменился. Его хромота ему ножиком по сердцу. А тут еще я:

– Что делать, Леня?

Он вскипел:

– Что делать? На фронт идти.

– Я же девчонка, Леня. Не возьмут.

– А ты через «не возьмут».

Ну, когда поостыл немножко, то и сказал:

– Ты, Зина, девчонка бедовая. Ты чего хочешь добьешься. Даже меня танцевать научила.

Что же у него с ногой было? Он мне говорит:

– Добивайся. Возьмут тебя, я тоже следом.

Мы с ним не виделись лет семь или восемь. Уже после войны, я замуж вышла, дочь Галя у меня родилась, и вот иду я как-то по Горького. Смотрю – со спины как бы Ленька. Волосы шапкой, плечи широкие. Только странно, думаю, если это Ленька, то почему он без ноги? На костылях.

– Леня, – говорю ему в спину. – Ты?

Он так и замер от голоса от моего. Потом начал медленно перебирать костылями, развернулся.

– Я, – говорит, – Зина, я..

И смеется. Ух, умел он смеяться! Заразительно. Потому я и взялась тогда, весной 41-го, обучать его вальсу.

– Теперь, – хохочет он, – не станцуешь.

Как водится, поговорили, кто на каком фронте был. Повспоминали старых друзей.

– Женился?

– А то как же? Порядок. А у тебя?

– Дочка. Скоро год.

– Ну, ты – боевая девчонка. Бедовая.

Как он поддержал меня тогда, перед уходом на фронт. Все были против. Во-первых, в райком не пробиться. Там круглосуточно очередь. С двумя такими же девчонками трижды штурмовала райком. В первый раз не пробилась, во второй – осечка. А тут еще дома:

– Куда ты голову толкаешь? «На фронт, на фронт!..» Не по твоему носу.

Это дядя. А мама Дуня – та сразу в слезы:

– Да на кого же вы меня покидаете! Да как я без вас одна!..

На работе сестра Галина тянет ту же песню:

– Куда ты, Зинаида? Сгинешь...

И только Леня, он тогда очень старался не прихрамывать, только он:

– Иди, – говорит. – Я за тобой.

Не помню имен и фамилий тех двух девчонок, с которыми вместе штурмовали райком комсомола. И как они выглядели – не помню. Черненькие или русоволосые, как я? Они тоже работали в Энергоуправлении и, наверное, были настырные, вроде меня.

С тех пор я не встречала их. Не знаю, какая им выпала доля и живы ли они, можно сказать, первые фронтовые подруги. Нас записали на разные курсы – их медсестрами, меня радисткой. Но таких как мы у райкома была тьма-тьмушая.

И вот сейчас, входя в свой пенсионный возраст, пройдя войну, теперь уже далекую, и все, что было после войны, хочу понять, что же двигало мной и сотнями тысяч таких же девчонок? Мы ведь рвались па фронт, не очень-то рассуждая, – как говорят, по зову души, по голосу крови. Оно в нашем народе испокон веков, начиная со времен Александра Невского. Когда лезет какая-нибудь погань топтать нашу землю, чтобы скрутить всех нас в бараний рог, так удержу в народе нет. Народ за свою родную землю умирать никогда не устанет.

Сейчас наука далеко пошла. Ученые говорят, у всего живого есть наследственность. У дерева, у птицы, у человека. И что, мол, какие-то признаки отбираются организмом, передаются потомкам, скапливаются в наследстве.

Думаю так: в нашем народе есть стержень, на котором держится все остальное. И этот стерженек передается из рода в род каждому человеку. От самых первых предков. В человеке может меняться все что угодно. Цвет глаз, походка, стать. Но все, все нанизано на извечный – его ни сломать, ни убить, – стерженек. И стерженечек тот – загадка великая, об него зубы сломали и Золотая Орда, и Наполеон, и Гитлер.

Что там, в середочке той? Свирепость, что ли, какая-то злость? Так нет. Глянешь в душу нашему человеку, а он добрый, доверчивый. Ну и двуличный. И все ж таки в самой середочке – что? А это вот –

эх, была не была! – когда он своим телом, оно у него живое и одно-разьединственное, затыкает амбразуру: «За Родину! За Сталина!..» Как это объяснить? Но стерженечек потайной – тут он весь.

Ладно, это в народе испокон веку. И навсегда. Но было кое-что новое, чего наши предки не знали.

Помню, дочери писали сочинение про «Войну и мир». Про князя Болконского. Со мной советовались, что и как. Почему он пошел на войну, не мог стоять в стороне? Конечно, тут патриотизм. Но когда защищал Отечество князь Болконский, так он, кроме всего прочего, защищал и свое родовое поместье. И вместе с национальной гордостью ему важно было отстоять и гордость аристократа. Родовитость обязывала.

А я родилась и выросла не в хоромах. Запомнилась мне хибарка с печкой-буржуйкой посредине. Это еще когда родители были живы. Отец был шорником, он делал хомуты и гармошки. А мать работала не то медсестрой в больнице, не то нянечкой. Годы тридцатые. Голод. Мать приносила с работы кусочки хлеба, мы их варили на буржуйке, чтобы их было больше. Вкусно. Только не хватало.

Мои дочки и внуки на старости лет вспоминать будут другое. Про голод они знают понаслышке. Буржуйку видели только в кино.

Пусть мы ели не досыта, и не хватало дров, чтобы обогреться... Но забыть не могу, когда я поступала в 1940 году в Энергоуправление и мне дали первое комсомольское поручение, я готова была на одной ножке про-прыгать от Фурманова до Аэродромной. Доверяют! Мне! Я не помню, какое было поручение. Помню радость, и что я чуть не свихнулась от гордости.

Недавно по телевизору шла передача, про моральный облик и что хулиганский поступок совершит только тот, кто расчеловечил себя.

А нас восчеловечили. Из голода и холода, из вшей и безграмотности. Мы узнали, что это слово – Человек – надо писать с заглавной буквы...

Уже на курсах радистов нет-нет да и загрустит кто-нибудь из подружек:

– Ой, девочки! А ведь убьют на фронте...

Ну и все мы взгрустнем потихоньку. Умирать никому не хотелось. А я встряхну кудряшками:

– Ну и убьют! Зато слава будет в родне. Зинка, мол, погибла за Родину. За всех за нас... Не горюйте, девчата. Надо еще до фронта добраться.

Мы были молодые, горячие, безрассудные. Так ведь дело не только в пас.

Не идет из памяти Коля Тимофеев. Он служил в нашем Берлинском полку, летал на «ПО-2». У нас с Антоном Григорьевичем уцелел снимок. Помечен январем 1945 года. Снимок небольшой, шесть на девять. Он уже выцвел немножко. На фотокарточке – хлопец во весь рост, сидит на стуле, чуть в профиль, нога на ногу, в руке папироса. В общем – принял позу. Чуб у него – чубище. Ресницы мохнатые, длинные – даже на фотографии видно. Красивый мальчик. По нему все девчата в эскадрилье сохли. Это он и есть – Коля Тимофеев.

Так вот. Случай тот произошел в 1944 году, на Украине. Наши наступали по всему фронту. Немец откатывался, но огрызался. Получил Коля боевое задание. Доставить двух корреспондентов в только что освобожденный город Каменец-Подольский. Чтобы они, значит, рассказали о нашем движении вперед.

У Коли какое оружие? Пистолет – другого пилотам не полагалось. Корреспонденты с автоматами. Самолетик небольшой. Он, вообще-то, двухместный. Но к тому времени бензобак чуть уменьшили, часть емкости поместили в верхнее крыло, кабину пилота выдвинули вперед и удалось выкроить еще одно место для второго пассажира.

Летел он вдоль линии фронта. Впереди – деревенька. По карте она два дня как наша. И вдруг – танк. С крестами. Тимофеев хотел высоту набрать, но танк успел достать его снарядом. Самолетик и ткнулся носом в пашню. Одного корреспондента прямо в кабине осколком убило. Второй выпрыгнул – и к деревне. Тимофеев забрал автомат из рук убитого и следом. А танк так и чешет через поле за ними. Они были уже у околицы, когда из танка ударил пулемет. Второго корреспондента убило.

А Тимофеев вбежал во дворик хаты. У дверей, видать, хозяин. Старичок. Он Тимофеева как будто поджидал. Тут же глазами повел – мол, давай на чердак.

Танк въехал чуть ли не в избушку. Стою, говорит Тимофеев, на чердаке, за трубой, автомат наготове. Даром не дамся. Слышу, трясут старика. Где, мол, рус? А тот им толкует: не бачил. Ну, кто-то лезет на чердак. Автоматом вперед. Секунда – я полосанул бы очередью. Но выдержал, а тот с улицы, с яркого света. На чердаке темно. Ничего и не увидел.

Отчалил танк в соседние дворы. Слышу:

– Сынку, где ты?

Ах, диду, диду! Зипунишка на нем порван, во всю скулу кровоподтек. А он:

– Схвататься надо, сынку. Они еще придут.

Схватил планшетку с картами, сунул под ворох кизяка. Меня к сараюшке подводит, в хлеву пол приподнял, там выемка.

– Ховайся, сынку.

И сверху досками накрыл.

Немцы пытали старика. Хату, говорят, спалим. А он не выдал. Они и на другой день мордовали старика. Хату сожгли. А старик – ни звука.

Тут наши подошли к селу, и немцы драпанули на своем танке. Замякающий солдатик должен был расстрелять старика. А солдат молодой. Мальчишка. Он выстрелил в старика два раза. И оба раза промахнулся. Видать, пожалел того деда.

А старик, он почернел от сажи и побоев, у него хватило еще силенок приподнять пол в хлеву,

– Герман утек. Наши...

Командование благодарило старика, а он:

– Та у меня два сына у Червонной армии. На летаках. Бьют германа. Я б и сам, та силы нема, сынки.

Деду отстроили новую хату. Он и спасибо говорил, и все переживал, что мы тратим время на постройку дома, когда немец бежит и его надо гнать без остановки.

Нет, дело не только в нас, молодых и горячих.

Человечишко стал бы спасать свою шкуру, свое барахло, а Человек – он спасал Человека.

Вот почему мы рвались на фронт.

Повестки пришли на работу. Нас, трех девчонок, вызывает к себе начальник. Смотрит, вроде бы сомневается. Мы это или не мы? А в руках у него наши повестки.

– Ну, – говорит, – девчонки, защитницы вы наши... Хотел я на вас тут работу оставить. А вы меня обскакали... Давайте завтра с утра с вещичками на сборный пункт.

И отпустил по домам. Чтоб мы вещички подобрали. А какие такие вещи? У нас всего-то имелось одно-два платьица из ситчика. Разве что туфельки взять свои распрекрасные. Кремовые, на низеньком каблучке да со скрипом – дух захватывает. Так в жизни солдатской они понадобятся едва ли. И вообще – когда на войну уходишь, то, кроме жизни своей молодой и неизношенного тела – не очень тренирован-

ного, может быть, однако нормы ГТО мы сдали, – да еще безоглядно отважного сердца, что брать с собой? Зеркальце – все же девчонки! – у кого кругленькое, у кого прямоугольничком, а у кого вместе с пудреницей под крышкой с прищелком. Ну да, щелкнул крышечкой, и открылось все твоё походное трюмо. Мыла кусочек – хорошо бы туалетного. Зубная щетка, зубной порошок. Да смена чистого белья. Вот и вся экипировка для солдатской жизни. По теперешним временам надо бы книжку взять, чтоб со стихами про любовь. Но тогда книжек было мало. Потом, уже вдали от дома, мы тетрадками обзавелись и карандашами, чтобы писать письма. Но это потом, а пока еще нас не коснулась тоска по дому, она бывает только в детстве да в юности, когда впервые уезжаешь далеко от родных.

Явились мы к месту сбора, решительные, грозные девчонки, и было нам по восемнадцать лет. Рядом со мной прихрамывал мой Леня. С гармошкой совсем забыла, он ведь на гармошке играл. И как играл! То есть, может, играл он так себе, но другого гармониста не было, и он играл, конечно, лучше всех.

Нас провожали с музыкой, с песнями. Плакали. Кто-то в военном сказал краткую и вдохновляющую речь. Мама Дуня крепилась как могла.

– Может, Володю там встретишь, – сказала она про старшего сына и дальше старалась молчать, потому что с каждым словечком могла разрыдаться. Она все гладила мое плечо и смотрела на меня, смотрела. Она держалась до последнего момента. Уже когда поезд тронулся, она было рванулась к вагону, да тут же и упала в обморок.

Два года спустя немцев погнали от Москвы, от Сталинграда, и стало ясно, Гитлеру нас не одолеть – пришло письмо из дому. Нехорошее письмо. Читала я его, перечитывала. Сижу «на ключе», радиogramму передам, жду ответа, а он приходит не сразу, минут через пятнадцать-двадцать, и все, что в письме том написано, не выходит у меня из головы. Дядя болен, почти что при смерти. Мама Дуня с полторагодовалым Толиком на руках тоже слегла. Не выдюжила. Похоронка на старшего сына Володю, дядина болезнь, нужда. «Приезжай на побывку, – слезно молила она. – Хоть напоследок взгляну на тебя. Попросись. Может, отпустят». И тут же справки от врачей, они горше письма и страшнее.

Поплакала я потихоньку над письмом, над справками. Делать нечего – пошла к командованию. А стыдно идти, стыдно проситься домой. Как бы там ни было тяжело, дома, – здесь, на войне, труднее. И

перед соседями было стыдно. Еще подумают, что испугалась, пороху не хватило. Справки о болезнях, дескать, предлог.

Меня отпустили. И не на побывку, а на неопределенный срок. Давай, мол, поправляй дела дома. А как поправятся, вернешься.

Не рада была я этому возвращению. Все понимала и по дому соскучилась, а ехала с тяжелым сердцем.

Приехала я в октябре сорок третьего. Огород помогла убрать. Утешила маму, поставила на ноги. И дядя стал помаленьку оживать, поправляться. Они мне рады были, да и я рядом с ними отогрелась, оттаяла. Я хоть и не бывала на передовой, но два года в постоянном напряжении.

Так-то оно так – Да только я с первого же дня, как приехала домой, стала рваться на фронт. И через три месяца, едва узнала, что объявлен прием на курсы радисток в учебно-тренировочный отряд ГВФ, сразу же подала документы. Принимали с десятилеткой, туда чуть ли не весь третий курс Ленинградского радиотехнического института, он был эвакуирован в Алма-Ату, подал заявления. А у меня семь классов. И вот являюсь я в приемную комиссию, мне и говорят: «Вас не приняли».

А я пришла в военной форме, в пилотке, выправка классная. Они глаза от бумажек подняли, глянули на меня: «Вы что – были в армии?» И тут же, неважно как я сдам приемные экзамены, назначили старшиной группы. А уже в конце мая уезжала я снова на фронт.

Я помогла посадить огород, дала маме собраться с силами.

– Ты еще немного потерпи, – говорю ей. – Этим летом как-нибудь сама управься с огородом. Теперь уж меня едва ли отпустят. А на тот год война должна кончиться. И мы вернемся.

Она ведь накануне проводила в армию и дядю. Он, как только перестал болеть, окреп немного и, несмотря на свой преклонный возраст, ушел добровольцем. На фронт он, правда, не попал, служил в Москве, в пожарных частях.

По дороге на фронт, когда получала направление в Москве, я разыскала его. Их казарма была у Сретенских ворот. Казарма здоровенная, в ней человек, наверно, пятьдесят или сто. А я по-военному, выправка у меня была что надо, четко печатая шаг, шла вдоль казармы. Дядя смотрел на меня растерянно. Откуда, мол, я взялась тут, в Москве? Вид у него был неважный, он бодрился. После победы он прожил еще три года, но все же война сумела его доконать. Он снова слег и больше уже не поднялся.

Но тогда, в июне сорок четвертого, надо было еще дожить до побе-